

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР

*Илья
Бояшов*

ПОРТУЛАН

ИСТОРИЯ МЕЛОМАНА, СПОСОБНОГО ПРЕВРАТИТЬ
ФАНТАСМАГОРИЮ В РЕАЛЬНОСТЬ

Классное чтение

Илья Бояшов

Портулан (сборник)

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бояшов И. В.

Портулан (сборник) / И. В. Бояшов — «Издательство АСТ»,
2018 — (Классное чтение)

ISBN 978-5-17-109455-3

Илья Бояшов – прозаик, лауреат премии «Национальный бестселлер», автор книг «Путь Мури», «Танкист, или „Белый тигр“», «Эдем», «Джаз», «Армада». Герой новой повести «Портулан» одержим музыкой. Она ведет его из барачной нищеты во дворец на Рублевке, который нужен ему только как хранилище огромного количества пластинок и для реализации невероятного замысла – прослушать их все одновременно... «Сюсай Хонинобо писателя Кавабаты, набоковский Лужин, Великий Гэтсби Фицджеральда – кто они? Гении? Оригиналы? Или просто люди, живущие в своем космосе? „Портулан“ – повесть о праве человека на подобное „сумасшествие“, праве, которое у него никто не может отнять» (Илья Бояшов). В книгу вошли повести «Портулан» и «Каменная баба».

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-109455-3

© Бояшов И. В., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Портулан	6
I	6
II	9
III	11
IV	13
V	15
VI	17
VII	18
VIII	20
IX	21
X	24
XI	27
XII	32
XIII	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Илья Владимирович Бояшов

Портулан

© Бояшов И. В., 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Портулан

Своему отцу посвящаю

*Какое мне дело
До всех до вас?
А вам до меня!*

Песенка Бена из кинофильма «Последний дюйм»

I

Если вы не знаете, что такое портулан, постараюсь объяснить: это... Впрочем, не стоит забегать вперед. Поначалу расскажу о Слушателе. Конечно же, прежде всего хочется поведать вам о моем знакомом, и поведать весьма основательно: так вот, он не был красавчиком. Представьте себе лоб в настоящих лунных кратерах (следы от выдавленных прыщей), глазки, близко посаженные к переносице, которые принято называть поросячьими, и самые что ни на есть стандартные уши. Слушатель имел средней величины раковины с обыкновенными мочками, козелками и противокозелками. Правда, на задней стороне левого уха присутствовал дарвинов бугорок, но в остальном ничего особенного: его банальные *aures* нельзя было даже сравнивать с великолепными, просвечивающими на солнечном свете, словно кусочки нежнейшей ветчины, оттопыренными лопухами чистопородных англичан. Кстати, о породе: отец и мать этого странного человека были обыкновенными алкоголиками. Тем удивительнее оказались поистине сверхчеловеческие способности Слушателя к математике, подозреваю, не раз наводившие педагогов на мысль о сделке их ученика с дьяволом.

С 1976 по 1986 год мы сидели за одной партой в школе старинного городка, прозябающего на берегах дремотной, затянутой ряской реки. Из окон музыкального кабинета нашей *альма-матер* одним взглядом можно было охватить все его скверы, бараки и дымящие фабрики. Бедный, несчастный Вейск, заповедник казарм и рюмочных! Своим расплывшимся по улицам, словно лава, доисторическим асфальтом, рассыпающимся домами и заколоченным на радость чертям всех мастей собором, от одного вида которого непременно получил бы инфаркт любой реставратор, он вопил о невозможности построения коммунизма в одной отдельно взятой стране – правда, местная власть имела на этот счет совершенно иное мнение.

Обозначу скупыми мазками дряхлый парк, в котором буйствовала сирень, и облупленный бюст Тургенева на единственной парковой аллее. Главная площадь – место сбора рабочих колонн и гарнизонных батальонов во время государственных праздников – милосердно развела по сторонам дышащий на ладан дом престарелых и горком партии – уютное большевистское гнездо в трехэтажном особняке. В центре площади попирал мраморный постамент несоразмерно короткими ногами чугунный Ленин – причина вдохновения нашей учительницы пения, древней, как и река, шарообразной скрипачки. На своих уроках эта целеустремленная дама постоянно и без зазрения совести использовала инструмент, от одного вида которого у многих начинали ныть зубы. Всякий раз наши мучения начинались с одного и того же ритуала: скрипачка осторожно вытаскивала из футляра, замки которого по-лакейски услужливо щелкали, деревянную, отливающую лаком коробочку, укладывала драгоценность на учительский стол, заставляя класс вздрагивать в предвкушении зубной боли, и следом с не меньшим материнским чувством доставала смычок. В кармане кофты мучительницы неизменно нахо-

дился камертон; она отдавала его какому-нибудь ботану, тут же невольный помощник по ее просьбе услужливо будил металлическую загогулину. Прижав ко всем трем своим подбородкам лакированное сокровище и поймав «ля» второй струной, училка ловко настраивала на слух по чистым квинтам остальные струны, извлекала несколько флажолетов и, наконец, царственно кивала.

С первой парты я мог разглядеть всё: аппликатуру, позиции, подушечки указательного, среднего, безымянного и мизинца. До сих пор не понимаю, как это трясущееся желе своими пухлыми пальчиками могло производить столь тонкие звуки, однако песня про Ленина сопровождалась скрипичным визгом от начала и до конца:

Он пришё-о-о-ол с весенним цветом,
В но-о-очь морозную ушел...

Всё началось с чертовой скрипки. Четвертый класс, октябрь, те же виды за окнами: фабрики, трубы, бараки, желтое озерцо тургеневского парка и несуразный памятник. Скрипка сопровождала наш жалкий хор, подобно беспощадному конвоиру. После очередного испытания детских глоток (каждая фальшь замечалась, подвергалась разбору, за анализом следовало неизбежное: «А теперь с первого куплета – повторить») скрипачка «на минуточку» вышла. Впрочем, нет – величаво вынесла из класса свое колышущееся тело. Соучастница пыток – чудо с барочным завитком и царапиной в верхней части грифа, которую не задрапировала даже повторно нанесенная лакировка, само воплощение хрупкости и изящества – осталась лежать на столе. Скрипка словно издевалась над нами, выставляя напоказ свою незащитность. Однако никто из собравшегося в кабинете сброда, включая самых отчаянных, пока сопрано учительницы пения в школьном коридоре за полуоткрытой дверью перемежалось с контральто завучихи, не смел и приблизиться к ней. Никто, кроме моего соседа по парте. Каким-то удивительным, сверхбыстрым образом переместившись к столу, наглец приложил ухо к эфе верхней деки и царапнул пальцем по струнам. Откликнулось мгновенно стихнувшее «ре», не замеченное в коридоре, где сопрано и контральто продолжали составлять несколько возбужденный дуэт. Операция повторилась теперь уже с «соль» малой октавы. Извлекая одинокие звуки, мой сосед вел себя словно дикарь, блаженно припечатывая ухо к корпусу, – только что слюна не стекала. Каждое вырвавшееся «соль», «ре», «ля» вызывало в нем приступы тихого, присущего сумасшедшим восторга, убедительно доказывающего: и школы, и прозябавших в классе братьев по несчастью, да и всего Вейска со всеми его пивными для экспериментатора более не существует. Пожалуй, впервые тогда я и заметил в нем особенность, которая исключительно раздражала впоследствии. Как только раздавались интересующие Слушателя звуки (неважно, прислушивался ли он к концерту Генделя или к реву простонародной гармонике), этот инопланетянин моментально абстрагировался от собеседника и вытягивался в струнку, всматриваясь в возникающее перед его взором нечто. Он не только терял всякую нить разговора – мы, стоящие рядом, вообще переставали для него существовать, растворялись, отодвигались в иное пространство. По его физиономии расплывался поистине наркотический транс. Что он там разглядывал перед собой? В какие райские долины мгновенно перемещался? Не знаю, не ведаю, не могу вам ответить...

Далее случилось вот что: один из классных бузотеров, откровенный подонок, подкравшись к Слушателю, в очередной раз приложившему «раковину» к источнику музыки, с завидной профессиональностью уличного бойца сгреб в свой кулак его короткий чуб и со всей бесшабашной силой треснул головой этого идиота о струнодержатель. Левое ухо Слушателя с запомнившимся мне на всю жизнь хлюпнувшим звуком впечаталось в инструмент; верхняя дека хрустнула; щелкнула подставка; дуэт в коридоре затих. Секунда – бузотер как ни в чем не бывало оказался за партой, над которой он перед этим столь вдохновенно трудился, выпили-

вая перочинным ножом очередную зарубку. Влетевший в кабинет воздушный шар наполнился гневом праведным. Однако внимание класса было обращено отнюдь не на даму. Ухо лузера на глазах присутствующих увеличивалось в размерах, подобно раскрывающемуся мясистому тропическому цветку, – зрелище поистине завораживало.

Итак, скрипка была выведена из строя. Наша радость не поддавалась описанию. Разумеется, никто и слова не пикнул в защиту Слушателя на следствии, затеянном язвенницей-директрисой, безутешной скрипачкой и учителем физкультуры, всеми способами стремящимся к алкоголизму. Попытки «тройки» добиться от нас правды изначально обрекались на провал: нож в кармане классного негодяя являлся отличным аргументом для закупорки истины. Сам обвиняемый предстал перед судьями не менее конченным трусом. Явившийся на процесс его отец, заплетающийся и ногами, и языком, настолько впечатлил педагогов, что вопрос с компенсацией тут же отпал.

Из разбирательств вытанцовывался единственный вывод: прогремевший по всем областным математическим олимпиадам местный Гаусс, виртуозностью своего ума вводящий нашего математика в какое-то подобострастное оцепенение, на уроке пения добровольно, в здравом уме и памяти сам хлопнулся о скрипку головой, желая проверить прочность обещанок. Единственный отголосок этого происшествия – прилепившееся к Слушателю прозвище Большое Ухо, с коим он и влачил свое дальнейшее существование.

II

Еще одна вспышка памяти: наше с ним участие в одном из самых ненавидимых школьниками мероприятий – культпоходе в вейский Драматический.

Театр городка (дорические колонны, протекающая крыша, гипсовая Мельпомена в фойе) являлся традиционным пристанищем целого сонма несостоявшихся Мейерхольдов. Гении прибывали сюда из волшебного далека, и каждый обязательно прихватывал с собой портфель с ворохом грандиозных планов. Однако в отличие от местных скоморохов, мужчин далеко за пятьдесят (пористые физиономии вейских актеров постоянно мелькали то на детских утренниках, то в привокзальном буфете), а также их подруг по цеху, от отчаяния готовых вцепиться в любого мужчину и в любую роль, заезжие режиссеры отличались маниакальной тягой к смене мест, исчезая с такой же очаровательной легкостью. Всякий раз они оставляли после себя гигантские декорации из картона, фанеры, досок, железа и кумача, перемещаемые поначалу в коридор позади зала, а после во двор – на радость сборщикам тряпья, макулатуры и металлолома. Впрочем, Москва насылала на Вейск не только разболтанных самородков, посещали город и симфонические оркестры. Высаживающиеся время от времени на вокзале десанты столичных джентльменов (за ними на перроне обязательно вырастала целая гора из футляров и чемоданов) одним своим появлением прогоняли скуку персонала фешенебельной вейской гостиницы «Баррикада». Вечерами эти посланцы небес в манишках и фраках, похожие на рассеявшихся по стульям пингвинов, с помощью Чайковского или Малера заставляли дрожать драмтеатральные стекла. Заглядывали к нам и одинокие гитаристы, и мастера черных и белых клавиш. В случае прибытия последних выкатывался из угла сцены Драматического потрясающий палисандровый «Шрёдер». Чудо-рояль оказался в Вейске благодаря безалаберности революционных комитетов, которые распределяли в двадцатых годах подобные жемчужины по театрам и Домам культуры как бог на душу положит. Местные краеведы, творцы неизбежных мифов, не позволяли аборигенам даже усомниться в закрепившейся за инструментом легенде, будто им некогда владела Матильда Кшесинская.

В тот краткий зимний день программа вещала о Шопене и Рахманинове; рояль попрощался с чехлом; желторотые птенцы, занимающие кресла с энергией гуннов, разбавлены были кучкой полупомешанных меломанок-старух в шляпках-тазиках, которые еще помнили 1812 год. О неуверенности пианиста свидетельствовало слишком уж сосредоточенное лицо – подобные физиономии бывают у сдающих экзамен зубрил – и сорвавшаяся попытка *стаккато* начать шопеновский Полонез № 6 ля-бемоль мажор. Основательно треснув по клавиатуре безотказного «Шрёдера» сухими ломкими пальцами, гастролер сразу же отдернул их, словно испугавшись исторических клавиш. Пальцы маэстро вынуждены были вновь начать свой бег. Впрочем, его конфуз подавляющее большинство сосунков, занятое болтовней, сморканием и разжевыванием бумаги для последующей стрельбы из трубочек, пропустило с великодушной рассеянностью. Нельзя сказать, что школяров не пытались настроить на музыку: сопроводительница бурсы, разбитная тридцатилетняя Мэри Поппинс, чем-то неуловимо похожая на разнаряженную цокающую лошадку, орала до момента появления маэстро на сцене. Этой дамочке, которая, потратив по дороге внушительную порцию своих нервных клеток, в очередной раз доставила нас до зала, долгое время удавалось прикрываться должностью завуча по внеклассной работе. О ее способности находить себе кавалеров даже во время невинных школьных походов на утренники в сарай, называемый кинотеатром «Заря», не ведало, пожалуй, только начальство, поэтому мы не сомневались, чем все закончится. Предчувствия не обманули – в конце концов завучиха затерялась во вселенной театральных гримерок с одинаковой надписью на дверях «Посторонним вход запрещен» (подобные ей воспитатели всегда оставляли нас «на минуточку», а затем хватались за голову). Результатом ее отсутствия яви-

лось бегство от мазурок и вальсов подавляющей массы пришедших. Фойе мгновенно заполнилось любителями газированной воды, которой не спеша делились два почтенных автомата. Оккупировавшие кафе школьные платица и костюмчики за каких-нибудь пять минут подняли выручку продавщицы до гималайских высот. В зале, в котором уже скорбно зазвучал Рахманинов, кроме меломанок прятался в кресле всего лишь один человек, но его отсутствия в очереди за мороженым никто и не заметил.

Перед тем как выскользнуть за большинством, я бросил взгляд на оставшихся. Электрический свет (на подобных концертах всегда торжествуют мириады ламп), как и следовало ожидать, был беспощаден к шляпкам с торчащими из атласных роз нитками, морщинам на столетних шеях, восковым мочкам, стойчески выдерживающим тяжесть серег, и завиткам старушечьих волос, свисавшим подобно белым синтетическим нитям.

Посреди этой замороженной Рахманиновым дряхлости, которая внимала Прелюдии № 10, соч. 32 си минор с дрожанием челюстей и постоянным мельканием подносимых к глазам скомканных носовых платочков, оказался Большое Ухо. Он переместился уже почти к самой сцене. Задрав голову (воротник рубашки свидетельствовал об отсутствии в его доме даже самого ничтожного куска мыла), Слушатель сидел, как поросенок под дубом. К его лицу намертво приклеилось то самое выражение идиотского восторга, которое я имел счастье наблюдать годом ранее в истории со скрипкой. Он чуть ли не пускал пузыри. За стеной, в театральном кафе и возле автоматов с газировкой, не просто резвилась – тотально торжествовала «младая», полная иных звуков, красок и впечатлений жизнь. Здесь же, щурясь от света люстр, словно от направляемых прямо в глаза ламп следователей, кухаркин сын всем существом приник к не перестающему разливать скорбь роялю. Весьма странной выглядела эта оставшаяся в зале компания – представитель вейской черни, зачатый в окраинном бараке, и готовые описать от восторга, словно спаниели при виде хозяина, доисторические интеллигентки (о происхождении старух свидетельствовали их гренадерская осанка, жемчуг в ушах, перешептывание *nous avons admirablement passe le temps* или *Je le trouve superbe* и влажные взгляды, устремленные сквозь рояль, пианиста, очередную неразобранную декорацию, партийный лозунг за нею в какие-то невообразимые, полные облаков с туманами дали).

III

Бог с ним, с культпоходом! В классе седьмом я столкнулся со Слушателем на улице. Именно с подобной неожиданностью влетаешь в бешено мчащегося велосипедиста или попадаешь на зуб разъяренной собаке, когда, ни о чем не подозревая, в самом прекрасном настроении и замечательном самочувствии сворачиваешь за угол. Сразу замечу: я никоим образом не желал общаться с Большим Ухом вне школы и тем более с ним приятьельствовать. Ничто не связывало меня с чудачком, который жил своей обособленной, исключительно странной жизнью, игнорируя все уроки, кроме уроков алгебры, и отрешаясь от мира при первых же звуках гарнизонной трубы. Я просто-напросто влетел в него. Теплым сентябрьским деньком, когда в садах то и дело шлепались о землю яблоки, а на вейском рынке ордами ползали по спелым плодам в стельку пьяные от подгнивающих груш и забродившего арбузного сока осы, траектория моего движения по центральной улице, именуемой у нас проспектом (все тот же чередующийся с миргородскими лужами лавообразный асфальт; дома, стены которых словно изборозило когтями пакостное чудовище; осыпавшаяся от его мифических когтей штукатурка; старые липы; ворохи листьев, которые так весело поддевать ботинком; отпущенные в город солдаты, все как один лопухие и нелепые в своей парадной форме; обыватели, снующие там и сям), пересеклась с еще одной траекторией. Слушатель прижимал к себе некий завернутый в газету плоский предмет – как мне показалось вначале, небольшой лист фанеры. Вне всякого сомнения, я явился для Большого Уха неожиданным подарком – его радость полыхнула порохом; он ухватился за соломинку, моментально что-то просчитав в своей голове.

– Послушай, – сказал он в упор (вообще-то подобным образом в упор стреляют, а не говорят), – послушай, дома у тебя есть проигрыватель.

Да, дома у меня был проигрыватель – настоящий волшебный ящик с чудесными проводками и лампами внутри. О, радиола «Дайна»! Дивная «Дайна»! Божественная «Дайна»! С каким волнением еще малолеткой я подбирался к ней. С каким восторгом до нее дотрагивался. Когда я поворачивал ручку громкости всего лишь до четверти мощности, динамики радиолы начинали дышать с такой силой, что ходила ходуном сетка, закрывающая их круглые темные рты. В «Дайне» роились станции и обитали разноязыкие голоса. Она создавала все эти переливающиеся, потрескивающие «волны». Из нее по утрам трубила ненавистная «Пионерская зорька», и под государственный гимн из нее моя семья укладывалась спать. А литературные чтения! А радиоспектакли! Бесстрастная информаторша, она была чужда всяческих идеологий, она стояла выше философии Ротшильдов и цитат Мао. С одинаковой отстраненностью она делилась и плохими, и хорошими новостями. Космополитизм «Дайны» зашкаливал. Именно благодаря этому свойству, наряду с патриотическими мелодиями, радиола время от времени потчевала нас нью-орлеанским джазом, фанфары побед совмещала с торжественно-скорбными объявлениями о кончинах партийных работников, щедро делилась сводками с полей и тут же подпитывала кухонное диссидентство моего отца сладким ядом радиостанции «Голос Америки». Но главное, главное в ней – откидная крышка и матово поблескивающий «блин», готовый в любой момент к тому, чтобы на его центральный шпиндель насадили пластинку. Вращение «блина» поистине завораживало. В раннем детстве, восторженный и взволнованный до бисеринок пота на лбу, я готов был наблюдать за этим действием часами и сутками и визжал от счастья, когда родители подносили меня к ожившему «кругу» и позволяли трогать его пальчиками, тогда еще совсем безобидными. Немного повзрослев, я сам научился оперировать хранящейся у нас небольшой музыкальной коллекцией, поочередно нанизывая на шпиндель Утесова, Лемешева, Шаляпина и ансамбль песни и пляски Советской армии имени Александра Давыдова. Подводя за лапку тонарм к самому краю очередной виниловой «тарелки», опуская корпус головки, прислушиваясь к потрескиванию иглы, прежде чем краснознаменный хор не

перекрывал его своим многоголосным ревом, я переключал затем скорости и заходился счастливым смехом, когда на семидесяти восьми оборотах тенора и басы начинали дробно и быстро бляеть.

Но вернусь к тому моменту, когда, столкнувшись, мы со Слушателем посмотрели друг другу в глаза. Кажется, ранее я ляпнул ему что-то насчет того, *что* у меня стоит в гостиной на тумбочке, обронил неаккуратно несколько слов о радиоле, похвастался благосостоянием, самодовольный кретин. Впрочем, несмотря на его вопрос-выстрел, более похожий на завуалированный приказ, можно было тотчас же и откреститься, отбрыкаться, проскользнуть мимо...

До сих пор не понимаю, почему я его привел к себе, почему позволил распахнуть перед этим любителем ковыряться в носу свое трехкомнатное гнездо, в котором он ни разу не взглянул ни на книги, ни на секретеры, ни на фамильное кресло, ни на пианино, ни на коллекцию оловянных солдатиков. Моя мать (ее преподавание французского языка, получившее в городе репутацию «блестящего», растянулось в медицинском училище на десятилетия) была не просто шокирована – я впервые увидел ее ошеломленной. Не здороваясь и не снимая кед, больше похожих на разношенные лапти, Большое Ухо сразу бросился к «Дайне», каким-то невероятным образом вычислив угол, в котором она находилась. Он уже шуршал в том углу, разворачивая газету с явным возбуждением, но в то же время и с деликатной аккуратностью, словно имел дело с гранатой. «Вот, – сказал Большое Ухо, – вот!» Наконец-то предмет, который он ранее так бережно прижимал к себе, был распакован и предстал перед моими глазами. Я до сих пор помню обложку диска, своим нехорошим желтым цветом подобную цветам в руках булгаковской Маргариты. Пластинка называлась *The Complete Works Of Edgard Vares Volume I*. Всклоченная эйнштейновская голова композитора на задней стороне конверта предупреждала, с кем придется иметь дело. Я так и не смог впоследствии сообразить, каким же образом представитель самого лютого музыкального андеграунда оказался в потных руках маленького нищего, ибо явление Эдгара Вареза в патриархальном Вейске было сродни явлению марсианина. Однако это был именно он, ниспровергатель божественных сфер, враг темперированной системы, окопавшийся в Америке маргинал, фрондер, предтеча музыкального апокалипсиса, человек, который всю свою жизнь добивался того, чтобы гармонию пугали его именем, и, надо заметить, в этом желании более чем преуспел.

Видели бы вы, с каким придыханием вытаскивал Слушатель из двух оболочек – картонной и бумажной – пластинку, с каким дрожанием, не дыша, какое-то время держал винил между ладонями, словно усыпанную бриллиантами корону. Я с некоторым усилием забрал диск из его рук. Недоверие и страх, что я не донесу Вареза до проигрывателя, слишком явно отпечатались на глуповатом лице одноклассника, вызвав мою невольную ухмылку.

Пространство всех наших комнат заполнили булькающие и квакающие звуки. Большое Ухо сразу же впал в транс. Глаза его вперились в поддрагивающую сетку, за которой дышали динамики. Возвращать Слушателя к *этой свету*, пока скрежетали звуки *того*, не имело никакого смысла. Во время пьесы *Integrales* я все еще за его спиной ухмылялся, однако, когда дело дошло до *Ionisation* – шестиминутной пытки с участием тринадцати перкуссионистов, – стало не до смеха. Он прослушал *Ionisation* раз пятнадцать, вызвав тихое бешенство моего отсиживающегося в спальне отца, и попытался вернуться к не менее тошнотворной *Integrales*. Вот здесь-то я был начеку. Схватив Слушателя за плечи и хорошенько встряхнув, я вывел его из задумчивости и возвратил в реальность. Решительно снятая мною со шпинделя пластинка была передана гостю, который и не собирался прятать разочарования. Тем не менее я твердо отказал Большому Уху в дальнейшем прослушивании, подстегнутый страхом, что *Ionisation* зазвучит вновь. Для конверта нашлась новенькая хрустящая газета, и Слушатель был выставлен.

IV

В жизни есть множество странных вещей. Мы все-таки сблизилась. Несмотря на мои заверения, что «больше никогда этот ужасный, невоспитанный молодой человек не переступит порога нашего жилища», уже через неделю вернувшуюся с работы мать встречала баховская «Сарабанда». Свидетельствую: и «Сарабанда», и «Бурре», и «Полонез», и «Менуэт», и *Badinerie*, от которой каждому чувствительному человеку неизменно хочется плакать, были также прослушаны Большим Ухом не менее пятнадцати раз – всё с тем же нездоровым блеском в глазах.

Конечно, в завязавшихся отношениях (если подобное можно назвать отношениями) главную роль играла «Дайна». Я интересовал Слушателя лишь как привратник, открывающий дверь в мир, к которому он так стремился. Ритуал посещений разработался сам собой. Звонок не успокаивался до тех пор, пока я, или моя мать, или мой отец не отворяли дверь. Большое Ухо возникало на пороге нашей квартиры, прижимая к себе конверт, затем, пересекая гостиную по диагонали, сопел возле радиолы, шурша газетной оберткой. Почему-то он всегда от меня отворачивался, словно стыдился всех этих стареньких «Правд» с фотографиями комбайнеров и космонавтов. Освободив конверт, он комкал газету и заталкивал комок в карман своих школьных брюк, которые, подозреваю, никогда не снимал. Затем вытаскивал из картона и бумаги очередную пластинку с поистине невротической боязнью за ее сохранность, несмотря на мои заверения, что виниловую массу можно совершенно спокойно ронять хоть с пятого этажа. Поднося пластинку к глазам, перед тем как передать мне, Слушатель внимательно рассматривал ее, неизменно огорчаясь каждой обнаруженной царапине. И обращался к «Дайне». Пробудившиеся динамики завораживали его, треск иглы невероятно возбуждал. Он весь подрагивал в предвкушении, словно гончая перед стартом, устраиваясь поудобнее на паласе и поджимая под себя ноги. Нос нервно теребился, указательный палец обязательно посещал то одну, то другую ноздрю, после чего козявки размазывались по рубашке и меломан отъезжал.

Сеансы наркотического забвения прерывала моя дорогая матушка. Появляясь в гостиной, с совершенно не присущей ей бестактностью она заявляла: хватит. Я довольно бесцеремонно выводил гостя из задумчивости, тряся его за плечи. Стоит ли говорить, что всякий раз Большое Ухо возвращался с крайней неохотой. Пластинка вновь помещалась в конверт, конверт обертывался любезно предоставляемой газетой; Слушатель исчезал. Что касается обучения деревенщины элементарным светским манерам – сбрасываемая в прихожей обувь (те самые носимые Слушателем до глубоких холодов кеды) и нетерпеливое «здрассте» моим родителям – единственное, в чем я преуспел, но со странным малым смирились. В конце концов, его визиты были безобидны – никаких тайком проносимых сигарет; никаких перешептываний над сомнительными фотокарточками, моментально испаряющимися из рук при появлении взрослых. Напротив, предьявлялись то моцартовская «Маленькая ночная серенада», то *Allegretto* симфонии № 7 до мажор, соч. 60 «Ленинградская» Шостаковича, и все это с полным отъездом Большого Уха в «облака и туманы», где он общался с неизвестно какими духами.

Какое-то время я предполагал, что мой знакомый готовится стать музыкантом, но за все годы своей жизни в Вейске, в отличие от меня, лишь изредка отрывающегося от фортепьяно, он ни разу не посетил музыкальную школу и вообще не изъявлял ни малейшего желания взять в руки хотя бы аккордеон или гитару. Случай со скрипкой был единственным, когда я увидел его дотронувшимся до инструмента. Он просто слушал, и всё. При этом музыкальная всеядность Большого Уха пахла чистым дилетантством – никакой избирательности, никаких предпочтений. Повторюсь, за хулиганом Варезом последовал Бах, принимаемый с точно таким же погружением и с точно таким же восторгом. Однажды, после прелюдий и фуг Букстехуде, он притащил пластинку с третьесортным вокально-инструментальным ансамбликом, песенки

которого выслушал с самым искренним пиететом, словно находил в постоянном повторении трех аккордов некую одному ему понятную прелесть.

В школе мы по-прежнему почти не общались. Даже самому чуткому однокласснику из нашего шумного окружения и в голову не могла бы закрасться мысль, что между мною и этим лемуром, которого во время его отсидки в школе выводили из летаргии разве что математические формулы, есть какие-то отношения. Его визиты в нашу квартиру были сродни некой тайне. Встречи почти всегда проходили в молчании. Большое Ухо приходил, слушал и уходил, даже не оставаясь на чай, предлагаемый ему скорее из постыдной материнской привычки к вежливости, которая в большинстве случаев (а это был как раз тот случай) является родной сестрой лицемерия.

V

Паломничество странного малого неожиданно завершилось. Слушателя отсекло от моей гостиной, словно ножом гильотины, – раз и навсегда. Времени прошло уже столько, что мать перестала вздрагивать на каждый звонок, а отец вновь проявил интерес к радиоле. Я начал подозревать, в чем причина, и моя проницательность оказалась выше всяких похвал. В один из дней Большое Ухо с видом обладателя по крайней мере золотой горы сообщил о некоем ценном приобретении.

Каждый город стыдится своих окраин. Убогость вейских барачков приводила местных патриотов в отчаяние. Это были какие-то странные сооружения из разноцветных досок – их фундаменты и не думали показываться из земли (впрочем, возможно, их вообще не существовало), окна, часто занавешенные тряпками, наполовину закрывала трава. Лишь на немногих крышах красовался шифер – на подавляющем большинстве строений серебрился толь, который перемежался с заплатами из полиэтилена. Ради объективности стоит заметить: кое-где заявлял о себе и некий достаток в виде двухэтажных кирпичных казарм – в подобных домах обитали семьи железнодорожников, истинной аристократии тамошних мест. Но в остальном по части трущоб наш городок, подозреваю, бежал впереди планеты всей. Возле его бессмертных барачков под бельевыми веревками бродили дети и дворовые псы, петухи гонялись за курами, куры – за высыпавшим зерном, пьяные мужья – за своими женами и жены – за мужьями. Там и сям пестрел мусор, там и сям прел под ржавыми железными листьями навоз для бесчисленных огородиков. Посреди барачных дворов высились сколоченные из всего, что только попадет под руку, туалеты; сараи же, не менее скособоченные, подпираемые со всех сторон жердями, представляли собой настолько фантастическое зрелище, что от их уродливости было просто не отвести глаз. Стыдилась этого запустения, пожалуй, лишь уникальная вейская сирень, которая летом самоотверженно закрывала собой помойки, да снег, облагораживающий даже самую вопиющую убогость.

Вновь не пойму, почему я тогда согласился отправиться к Слушателю домой, но факт остается фактом. Пока я разглядывал кур и сараи, Слушатель рылся в карманах. Затем следом за хозяином я миновал барачный коридор, треснувшись обо все его тазы и наткнувшись на все его ведра. Большое Ухо справился с замком. Комната, где он обитал вместе со своими родителями, наконец-то была представлена. Я удивился испугу, который отпечатался на его лице еще там, во дворе, когда он, обыскав себя с ног до головы, взволновался было из-за потери ключей (они благополучно отыскались в школьном портфеле). Эту берлогу можно было и не закрывать! Продавленная кровать возле одной стены; тахта – для симметрии – возле противоположной (пружины ее стремились на свободу и готовы были вот-вот прорвать гобелен); грошовый секретер из тех, которые можно без всякого сожаления пустить на дрова; платяной шкаф (точно такой же кандидат на растопку); два табурета и кухонный стол совершенно не нуждались в защите. Граненые рюмки, которые, словно детсадовские детишки воспитательницу, окружали на столе пыльный графин, и явно склеенный после падения фаянсовый заварочный чайник на полке также выступали свидетелями отчаянной бедности. Но Большое Ухо не волновали свидетели.

– Вот, – сказал Слушатель, – вот.

Сокровищем оказался проигрыватель, с которого Большое Ухо смахнул покрывало. Приютившийся на подоконнике ящик впечатлял своим внешним видом. Его доисторический корпус располовинила внушительная трещина, а пластмассовая окантовка готова была рассыпаться даже от самого осторожного прикосновения.

Прежде всего я дунул на мертвых мух, убрав с подоконника целое кладбище. Затем с некоторой опаской открыл крышку и заглянул внутрь ящика. Предчувствие не обмануло. Я

не посмел и тронуть обмотанный белой изолентой, словно бинтами, тонаром. Динамик (ткань разъехалась, на помощь порванному картонному конусу пришла все та же милосердная изолента) не внушал никакого доверия. «Блин» вертелся со скрипом, похожим на скрип, который в нашем Парке культуры каждую весну издавала карусель, когда эту рухлядь несколько раз прогоняли порожняком, прежде чем посадить на нее отдыхающих. Поставленная Слушателем пластинка полностью подтвердила мой скепсис. Басы не просто хрипели – уже с первыми аккордами Пятой Бетховена они явно добивались от нас того, чтобы проигрыватель немедленно оставили в покое. Однако Большое Ухо (в тот момент само воплощение блаженства) заставил меня прослушать все три части гудящей и отчаянно хрипящей бетховенской симфонии. Стопка конвертов, извлеченная затем из-под тахты, представляла собой настоящий винегрет из классики и советской эстрады. Вид некоторых обложек безошибочно указывал на место предыдущего их пребывания (впрочем, что только не отыскивалось тогда на вейских помойках). Наряду с Моцартом, Вивальди и Свиридовым мелькнули Эдит Пиаф, Мирей Матье и Валерий Ободзинский – типичный ассортимент, который совала под нос обывателю в семидесятые годы фирма «Мелодия». И вновь застонал ящик и, к ужасу моему, загремела *Integrales* Вареза. Мне некуда было деться. Большое Ухо потчевал своей демьяновой ухой с такой радостью и воодушевлением, что отказать ему мог бы только последний мерзавец. Между тем у ящика поднялась температура, его бока стали горячими: он явно находился на грани жизни и смерти. Однако я не решался вмешиваться. К счастью для умирающего механизма, возникший на пороге папаша Слушателя своей пьяной руганью выкинул нас с Большим Ухом на улицу. Таким образом мы с проигрывателем были спасены от скрябинского «Прометея».

VI

Заполучив собственный источник счастья, Слушатель навсегда оставил мою «Дайну» в покое. Время от времени я одалживал ему денег на покупку очередного диска в подвальном магазинчике «До мажор». Магазин не особо заботился о рекламе. Намалеванный на входной двери толстячок (по всей видимости, художник пытался изобразить любителя музыки) своим беретом, похожим на приплюснутый колпак, многими воспринимался как повар. Не менее безыскусно нарисованный проигрыватель, который он плотоядно разглядывал, вполне можно было принять за печь. Две лавки подвальчика разделялись широким проходом, в конце прохода оглушительно звенел кассовый аппарат. Упирающиеся в потолок массивные деревянные стеллажи были забиты пластинками до такой степени, что молоденькие продавщицы в попытке выдернуть требуемое то и дело прибегали к помощи посетителей. Возле одной из лавок встречала клиентов простенькая радиолка – услужливостью этой Золушки с утра до вечера пользовались и продавцы, и клиенты. Хмурые работяги (формовщиков, сварщиков и слесарей приводило сюда неистребимое любопытство их жен), проверяя товар, ставили на нее летку-енку, бархатную Людмилу Зыкину, не менее бархатную Ольгу Воронец, а также хор имени Пятницкого. Выстраивались в очередь к радиолке и любители Дебюсси и Сен-Санса. Интеллигентность подобных меломанов проявлялась в изяществе, с которым, спускаясь по трем ступенькам, они приподнимали шляпы, приветствуя знакомых продавщиц.

Я не особо стремился к общению с обладателем древнего ящика, но все получалось как-то само собой. Тащась домой после уроков сольфеджио и бесконечных, словно прусская муштровка, прогонов этюдов Глиэра (шесть лет отсидки в душных классах музыкальной школы имени Балакирева начисто отбили во мне желание иметь дело с самой тоскливой из профессий – профессией музыканта), я встречал Большое Ухо возле «До мажора» – и не мог ему отказать. Помню, мы вместе меняли в магазинчике Бородина (из-за заводского брака на двух сторонах неосмотрительно приобретенного нами винила была «отпечатана» одна и та же Симфония № 2 «Богатырская»). Так как проданный нам ранее Бородин оказался последним, двум завсегда любезно предложили на замену равного по цене Чайковского, тоже последнего и тоже с небольшим «брачком» – царапиной на стороне «А». Большое Ухо охотно забрал «Щелкунчика» и поведал мне о своем ноу-хау. Он обильно смачивал украденной у отца водкой водружаемые на «блин» диски, а заодно иглу – когда то и другое купалось в спиртном, шорох и треск значительно снижались.

Однажды он забрел на урок литературы с явным желанием вновь меня потрясти. Отцовский рубль я собирался потратить на более приземленные вещи – полный овсяного печенья кулек, лихо свернутый продавщицей универсама «Лакомка» (нас, вейских школьников, всегда восхищало умение этой грубоватой тетки за секунду мастерить из любого бумажного материала надежные пакеты для продуктов). Похожее на сплюснутые лепешки овсяное печенье заводилось в город исключительно редко; как раз в тот день его и должны были доставить – вот почему я имел твердость отказать. Большое Ухо не унимался. Ему позарез нужен был Морис Равель – речь шла о пластинке, которую «чудом еще не купили». Все мои сомнения насчет популярности Равеля среди местных сантехников и крановщиков гневно им отвергались; Слушатель уверял: «Болеро» сграбастают в любую минуту те самые, вежливо приподнимающие свои шляпы типы, наведывающиеся в «До мажор» с такой же частотой, как и он сам. Литераторша терпела наш непрерывный бубнеж не более десяти минут, затем мой дневник переместился на учительский стол, а Большое Ухо вообще выставили из класса с формулировкой «невероятная наглость».

VII

Не помню, примкнул ли в конце концов к стопке дисков под тахтой Слушателя и Равель, но вот со Стравинским случилась довольно неприятная история. Той весной я готовился навсегда распрощаться с опостылевшим музыкальным заведением, надеясь: Господь Бог поможет более-менее сносно отбарабанить на выпускных экзаменах две вещицы из баховской «Органной книжечки», и почти постоянно находился в лихорадочно-приподнятом настроении. Май в городе восторжествовал настолько, что празднично выглядели даже трубы вейского Радиотехнического завода. Мой рубль, присовокупленный к собранной Слушателем сумме, явился причиной нашего очередного похода в подвальчик. Большое Ухо страстно желал заполучить «Весну священную» и, как всегда в подобном случае, торопился, постоянно оглядываясь на своего спонсора, словно боясь, что я внезапно исчезну. День излучал оптимизм: зелень лезла из всех щелей, солнце, словно дробью, пробивало лучами любую тень. Нас уже ожидала дверь с поваром и печью и витающие под сводами магазина голоса эстрадных теноров. Вместе с Большим Ухом я переминался с ноги на ногу в очереди в кассу; я наблюдал за тем, как хватает Слушатель выданный аппаратом чек, как, шевеля губами, по своей врожденной привычке обращать внимание на цифры вникает в код. Не ведаю, сколько совершенно бесполезных сведений хранила его странная голова, но однажды на спор он по памяти бойко перечислил шифры случайно найденного им в заднем кармане собственных брюк чека на Восьмую симфонию Малера, упомянув даже самую незаметную маленькую букву в углу (стоит заметить: мы поспорили через полгода после того, как пластинка с Малером оказалась под его тахтой). Что касается Стравинского, «Весна священная» не без труда была выдернута со стеллажа тонконогой, как и магазинная радиола, ланью-продавщицей. Грустные глазки лани выдавали ее желание в данный момент ерзать на стульчике в каком-нибудь молодежном кафе и иметь свою голосовую партию в квинтете бойко стрекочущих подружек. Но, увы, девчонка возилась с каталогами, полными неведомых ей композиторов, двигала тяжелую стремянку, рылась на полках, вручала конверт двум соплякам в мятых школьных костюмчиках, а на вопросы других празднующихся субъектов «не завезли ли сегодня в магазин что-нибудь итальянское» голосом, который и не пытался спрятать вселенскую тоску, отвечала «нет, и не завезут».

Солнце, пятна, просветленные лица вокруг, как-то по-особому звонко работающие моторы автобусов и легковушек настолько заразили меня вирусом повсеместной бодрости, что я согласился сопровождать Слушателя до окраины. Мы решили здорово срезать путь, вот почему оказались в ловушке парка. Перед облупленным, словно яйцо, писательским бюстом шнурки кед Слушателя окончательно развязались. Большое Ухо все-таки вынужден был расстаться с «Весной», со вздохом передав ее мне (о, какой это был вздох!), и занялся торопливой шнуровкой.

Именно в этом месте, пройдя чуть вперед, я и наткнулся на флегматичную троицу, которая, развалившись на травке в тени тургеневской головы, уже закончила свое неторопливое дело. Бидончик был пуст, парни утирали губы. Я ощутил кислый, ни с чем не сравнимый запах местного пива.

– Иди-ка сюда, жиденок! – ласково позвали меня.

Слушатель издал стон раненого животного, а я, не зная, куда и девать конверт, вынужден был предстать перед восемнадцатилетними урками с их поистине волчьими улыбками. Оказывая мне честь, они поднялись и лениво отряхивались от прилипших травинки. То были славные представители городского дна, носители вейских воровских обычаев. Именно подобных модников (клеши с мешковатыми карманами, вместилками кастетов, заточек и самодельных финок, расстегнутые до пупа рубахи) городская среда неизменно опутывала душевраздирающими легендами. Все эти саги об отрезанных пальцах, содранной коже и тщательно

упакованных в чемоданы человеческих останках мгновенно вспомнились мне – волосы мои встали дыбом. Большое Ухо за спиной словно перестал существовать – он куда-то аннигилировался. Блатные обступили автора этих строк с все той же грациозной леностью, присущей особо опасным подонкам.

– Дай-ка сюда конвертик!

Они всматривались в обложку (рериховский хоровод девиц и старцев на фоне перекрученного, созданного из желваков и наростов дерева, растопырившего во все стороны множество голых колючек-ветвей) и чуть ли не по слогам читали аннотацию. Обратив внимание на фотографию гения, они позволили себе поострить насчет очков Игоря Федоровича. Затем вытряхнули содержимое конверта. Пластинка спружинила в ловких руках одного из уркаганов, когда тот согнул ее. Для чего-то вслух им были прочитаны части балета на той и другой ее сторонах. Затем вершители моей судьбы ненадолго задумались. Только что выпитое хулиганами в тихой обстановке замусоренного парка пойло, которое их, несомненно, расслабило, и сотканное самим Господом невероятное обаяние ликующего денька подтолкнули отрезателей пальцев лишь к одной, вполне невинной с их точки зрения выходке.

Куда шпана делась потом, не помню – помню вопль мгновенно материализовавшегося Слушателя. Сломая голову он ринулся в кусты и с треском покатился вглубь единственного в парке (но зато какого!) оврага. Не успел я справиться с дрожанием коленок, как Слушатель уже там, внизу, трещал прошлогодними стеблями, продираясь в кустах и пытаясь отыскать сокровище. Он ворочался среди груд закамуфлированного сиренью мусора, временами издавая утробные вздохи и пиная консервные банки. Качающиеся верхушки кустов показывали направление его поисков. Придя в себя, я счел своей обязанностью присоединиться, о чем тут же и пожалел. И вдоль парковых дорожек (стоило лишь сделать шаг в сторону) то здесь, то там в траве слоились кучки, привлекающие со всей округи синевато-зеленых мух; что уж говорить об известном в Вейске «тургеневском» овраге, который представлял собой гигантский общественный туалет.

Склянки, ржавые обручи, шины, погнутые велосипедные колеса составляли лишь часть его коллекции. Из обнаруженных нами пустых винных бутылок можно было соорудить еще одну египетскую пирамиду. «Весна священная», улетевшая с тихим жужжанием в эту страну запахов, растворилась в ней. Наши попытки еще раз прочесать территорию, теперь разбив ее на квадраты, ни к чему не привели. Наверху солнце не сдавало позиции; победно орали дрозды; повсеместно вскипала сирень. Здесь, у истока стволов, дающих на стол обывателей столь пышные, дурманящие букеты, мы натыкались на дохлых кошек и на раздавленных голубей. В конце концов, перепачканный и обозленный, я удалился, оставив Большое Ухо в обществе рыжей пронырливой крысы, которая в двух шагах от него с не меньшим рвением исследовала одну из мусорных куч.

VIII

Несколько дней спустя он возник в школе, хмуро сообщив, что поиски Стравинского не увенчались успехом, и тут же выпросил рубль на «Весеннюю симфонию» Хиндемита. Я всегда отдавал дань его невероятному упрямству, так же, как и аккуратности, с которой Слушатель всякий раз возвращал долги. Каким образом Большое Ухо доставал деньги, оставалось тайной – подобно всякому уважающему себя банкиру я никогда не спрашивал о происхождении средств. Партнер всегда оговаривал время возвращения (оно могло варьироваться от недели до месяца), а также сумму вознаграждения (я брал не более пяти процентов). В итоге, субсидируя Слушателя, скажем, седьмого августа, я был уверен, что первого сентября долг с процентами будет обязательно выплачен, следовательно, я смогу осуществить давно планируемую покупку спиннинга в магазине «Карась и щука», который, в отличие от магазина музыкального, обладал прекрасной рекламой – выставленной в витрине копией перовского «Рыболова». Так что в финансовом плане мы составили довольно тесный дуумвират. Результатом нашей совместной деятельности явилось внушительное собрание советских пластинок. Диски теперь Слушатель прятал от алкаша-папаши и от не менее любящей спиртное матери на чердаке. К моему удивлению, его проигрыватель продолжал функционировать. Все попытки отца Большого Уха пропить ящик были обречены: даже в шалмане «Под дубками», где меняли на «сто грамм» самые экзотичные вещи вроде керосинок или проржавевших вилок фабрики «Пролетарий», никто не горел желанием обладать раритетом. Конечно, коллекция Слушателя до слез рассмешила бы любого вейского музыкального спекулянта, но возможности моего заемщика (да и возможности моего банка, несмотря на то что я уже оперировал суммами в несколько десятков рублей) оказались слишком скромны. В результате бит и рок обошли дом Большого Уха стороной. Он так и не появился на подпольном толчке за железной дорогой, где были в ходу фирмы *Charisma* и *Chrysalis Record*, конверты и диски которых поражали своим изыском и качеством. Слушатель отдавал дань отечественной «Мелодии» (единственный «иностранец» Варез не в счет), в результате чего жадно питался классикой.

IX

Приобретение аттестата об окончании десятого класса, в котором в сером троечном ряду единственной звездой сияла пятерка по алгебре (математик проявил настоящую самоотверженность, выступив против такого бульдозера, как педагогический совет), явилось откровением, кажется, даже для него самого. Что касается жизни страны, стоило только нам оставить за спиной школьный фаланстер, время понеслось удивительными скачками: в дремотный Вейск заявила Перестройка. Оглядевшись, эта дама дала отмашку главной своей союзнице, и Разруха немедленно оккупировала каждую голову: государственные швы затрещали, механизм прежнего руководства на глазах изумленных горожан испустил дух. Зато местный рынок, едва теплившийся все предыдущие семьдесят лет на скромном пяточке за фабрикой «Кружевница», пробудился, возвысился, словно кустодиевский большевик, и, как и полагается существу, более полувека просидевшему на вынужденной диете, оказался невероятно прожорливым. Он заглотил все без исключения улицы, а затем овладел и центральной площадью, завалив ее бараклом, словно именно для этих дней припасенным в избах, бараках, домах, сараях и городских квартирах. Город стал походить на лоскутное одеяло. Люстры, торшеры, лампы, радиоприемники, болты, винты, кофты, ковры, обувь несли на себе отпечаток отчаянной старости. Лица, готовые ради расставания с ними целыми днями не покидать табуретки и стульчики, ставили рекорды общительности в попытках запутать в своих сетях таких же неудачников. Слово сурикат, они с утра до вечера находились в постоянной стойке и вертели головами в поисках покупателей. Одна часть Вейска торговала, другая не менее отчаянно отказывалась от мятых самоваров и дырявых сапог. Кроме того, граждан изматывали политические диалоги. В результате над Вейском повис невероятный по богатству оттенков гул голосов.

Для Слушателя наступили поистине благословенные дни. Обыватели распродавали целые залежи бесполезного с их точки зрения музыкального хлама: диски с музыкой Шуберта, Бартока, Листа и династии Штраусов уходили с лотков за бесценок. Правда, отдельные продавцы по части торга могли заткнуть за пояс и местных цыган, но при всей своей отрешенности Большое Ухо вовсе не был безропотной овечкой, которую можно в любой момент припечатать к скрипке. Он без стеснения пользовался моментом. На одной из бесчисленных барахолок я явился свидетелем сцены, показавшей моего заемщика с совершенно иной стороны. Не подозревающий о том, что бывший сосед по парте замер за его спиной, Слушатель отнимал у покрытой прыщами спившейся бабы целую стопку пластинок. Торговка, вцепившись в них, моталась из стороны в сторону. Залитый внутри портвейн, возможно, прибавил ей куража, но никак не сил. Она шипела словно фурия, однако неизбежно сдавала позиции. Большое Ухо с поистине садистической сосредоточенностью отцеплял один за другим от липких конвертов ее фиолетовые пальцы.

– Я уже тебе заплатил, – злобно цедил он сквозь зубы. – Я уже заплатил тебе...

Действительно, несколько пожалованных Слушателем купюр валялось на коврике перед пьянчужкой. Одного взгляда, брошенного на эту государственную бумагу, изжеванную бесчисленными брючными карманами, портмоне, дамскими кошельками, замусоленную алкашами, барменами, шоферами-дальнобойщиками и их податливыми подружками, истерзанную бесчисленными передачами из рук в руки, было достаточно, чтобы понять – товар уходил за бесценок. Баба утомленно сопела; поселившийся в ней алкоголь уже закрывал ей глаза и рот. Большое Ухо выцарапал наконец добычу, оглянулся, торопливо засовывая вырванное в авоську, и, разглядев меня, отскочил в толпу.

Оценив его расторопность, я констатировал факт: новые реалии, одним махом превратившие знаковый «До мажор» в склад мебели (правда, повар с печью по-прежнему красовались на двери), в утешение Слушателю предоставили ему возможность вырывать у отчаявшихся

работяг за жалкие пятаки такие раритеты, как, к примеру, моцартовская «Волшебная флейта» с Берлинским филармоническим оркестром под управлением Карла Бёма (экземпляр подобной «Флейты» однажды попался мне на одном из прилавков). Впрочем, после того как наше соседство по парте осталось в прошлом, мне не было до Большого Уха уже никакого дела.

Пока Слушатель бегал по рынкам, в Вейске наступила бескормица. Посылаемый матерью на поиски пропитания, я лицезрел в магазинах лишь озабоченные физиономии домохозяйек. Продащице из «Лакомки» (она так здорово сворачивала нам кульки) надоело созерцать Сахару на витринах и в кастрюлях на собственной кухне. Женщина свела счеты с жизнью в универсамской подсобке. Началась какая-то мода на веревки и табуреты: вешались слесаря обанкротившегося шарикоподшипникового завода, солидные инженеры и даже, за компанию, гарнизонные прапорщики, сама служба которых на консервных складах и хранилищах ГСМ обеспечивала им существование халифов. Расчехлив в рабочем кабинете именную двустволку, задал работы криминалистам и потрясенной уборщице первый секретарь Вейского горкома партии. Прощание с боссом стало, пожалуй, последним мероприятием, которое сумела организовать уходящая власть. Цветочные лавки были опустошены; процессия, прикрывшись со всех сторон, словно щитами, немислимим количеством венков, подобно гигантской черепахе тащилась за скорбным грузовиком по всему заваленному старыми вещами городу.

Итак, апокалипсис близился: те, кто еще рисовал себе будущее, разбежались из обреченного Вейска. Повинуясь инстинкту самосохранения, я также подался прочь. Отцовский чемодан предоставил убежище двум-трем трусам и майкам, паре рубашек, целому клубку носков, запасным джинсам, внушительному пакету с обесценившимися рублями, аттестату об образовании и несколькими ломтиками хлеба, между которыми были аккуратно проложены кружочки охотничьей колбасы, вобравшей в себя хрящи и жилы совершенно неведомых животных. Мое упорство и красноречие проявили себя с самой лучшей стороны: именно в ту минуту, когда я окончательно понял, что мать собирается реветь до тех пор, пока не посадит меня в вагон, эта парочка явилась на помощь и убедила родителей не провожать своего единственного сына. Лишенный таким образом обузы, в один из июньских дней 1987 года я покидал малую родину, подобно лермонтовскому гаруну. Мой бег остановила только привокзальная площадь. Она была поделена на торговые ряды все тем же беспощадным скальпелем перемен: торговал каждый ее метр. Помню, что в магазине напротив вокзала, вобравшем в себя всю специфику вейского бытия (наряду с консервированными помидорами там были выставлены на продажу бидоны, теннисные ракетки, пузырьки «боярышника»; существовал музыкальный уголок с арсеналом пыльных, никому не нужных баянов), неожиданно лопнуло витринное стекло. К счастью, прохожих не задело. Торговля в магазине не прекращалась. Так как стекло теперь отсутствовало, до меня доносились все его шумы и звуки. В музыкальном уголке неожиданно проснулся проигрыватель – загремело анданте Пятой симфонии Мендельсона. Продавец явно страдал глухотой – крутанув ручку громкости усилителя до предела, он и не собирався отыгрывать назад. Осатаневшие голуби мгновенно закрыли небо; добрая половина площади вздрогнула и перекрестилась. Для меня это был последний аккорд! Перед тем как окончательно повернуться к Вейску спиной, я все-таки поддался сентиментальности: бросил прощальный взгляд на площадь, на витринный проем, и моментально (надо же такому случиться!) глаза мои, превратившись в биноклярный оптический прицел, поймали находящегося в магазине Слушателя. Большое Ухо торчал возле прилавка с баянами. Скорее всего, он сам и просил поставить Пятую. Взгляд сумасшедшего блуждал по облакам, губы его шевелились, повторяя неведомую мантру.

Впрочем, меня совершенно не взволновал символизм нашей нечаянной встречи. Скрипка, «Шрёдер», завернутый в «Правду» Вarez, пластинки, кеды, барак, кладбище мух на подоконнике, перевязанный бинтами тонарм, парк имени Тургенева, улетевший с жужжанием в кусты Стравинский и плавающее над вокзалом мендельсоновское анданте – все это отъез-

жало в прошлое, обрекалось на забвение, уходило во вчера в компании с самым оригинальным чудачком, которого я только встречал на свете. Большое Ухо оставался в глубине жалкого при- вокзального магазина посреди баянов, ракеток и остального перестроечного хлама, подобно чеховскому Фирсу.

«Ну и бог с ним! – думал я, забираясь в вагон. – Ну и бог с ним...»

X

Москва осени 93-го – далеко не лучшее место даже для самых желанных встреч, что уж говорить о встречах совершенно нежеланных. День 4 октября с его пьяным гоголом, женским визгом, хрустом стекла под ногами (последнее воспоминание о Вейске и ужасы московского бунта переплелись во мне именно в связи с непереносимым звуком бьющихся и разлетающихся по мостовой осколков) начался чудовищно, но завершился еще более фантазмагорически. Почему я оказался на набережной? Почему пребывал в тигле вселенского хаоса? Отказываюсь понимать, но темные силы, вне сомнения, существуют: сам дьявол схватил меня тогда за шиворот и перенес на Краснопресненскую. Танки уже заняли позиции: они подняли хоботы, выплевывая снаряды в сторону Дома Советов (бах! бум-м! бом-м! бах! бум-м! бом-м!). Я болтался недалеко от чудовищ; я жался к каким-то оградкам, вдыхая смрад солянки, пороховые выхлопы и вонючий дым, то есть все запахи беды, которые здесь безраздельно царствовали. На мостах и крышах чернели гроздь любопытствующих; казалось, весь шар земной состоит из зевак. Впрочем, ничего удивительного: сатана, поставивший весь этот спектакль, остро нуждался в массовке, и нужно отдать должное москвичам – они охотно откликнулись. Представление не обходилось без музыки: в басистое «бом-м! бом-м! бом-м!» вплеталось тонкое «фьють» (пули, натываясь на стены, отмечались фонтанчиками из штукатурки и кирпичной крошки). Подобная симфония привлекала со всех сторон новых зрителей, которые все ближе жались к завораживающим звукам, словно бандерлоги к питону Каа. Поплатившиеся за любопытство бедолаги уже лежали на улицах. Я маялся в толпах. Я метался туда-сюда, натываясь то на каких-то молодчиков (их распахнутые рты были словно черные дыры, из которых вырывалось животное «ура»), то на окаменевших милиционеров (выражение этих асбестовых лиц, как ничто другое, напоминало о пропасти, в которую все мы готовились в тот день свалиться), то на лозунги «С нами Правда!», то на вздетые к небу в попытках привлечь на помощь Гавриила и Михаила сколоченные из палок кресты. Я был слишком раздавлен, чтобы найти в себе силы покинуть представление. Мимо меня постоянно пробегали с носилками ангелы-санитары. В мою голову упрямо лезли олешинские «Три толстяка». Карнавал продолжался. Отчего-то мне казалось (хотя, вполне возможно, это было на самом деле) – я топчусь в самом центре бестолковых московских гуляний, названных впоследствии историческими событиями. Неожиданно взвыла гармоника – к какофонии звуков добавил свою мелодию весьма экзальтированный субъект, которого, как и многих, вывел на улицу гипноз гражданской войны. Судя по виду гармониста, последние сорок лет над его внешним и внутренним обликом усердно трудился алкоголь, однако в тот день патриотизм взял над деградацией верх: двухрядка рвалась на части; «Вставай, страна огромная» была предъявлена толпе (в ней шла постоянная ротация) с таким ревом, от которого стыла кровь в жилах. Правда, непредсказуемый ритм не позволял присоединиться к исполнению сочувствующим, но явное насилие над тактом, равно как и над гармоникой, никого не смущало. И уж совершенно не смущало предсмертное хрипение раздираемой в клочья двухрядки еще одного странного субъекта – тот словно прилип к горемузыканту, пытаясь поймать ритм ногой (конечно же, безуспешно). Прежде всего меня поразила отбивающая такт туфля. Поверьте человеку, за шесть лет своей московской «одиссеи» наглядывшемуся на обувь: это была дорогая туфля; даже нет, это была слишком дорогая туфля! Возможно, не «Амадео Тестони», возможно, попроще, однако она разительно отличалась от остальных пыльных, потертых, стоптанных сапог и ботинок! Как была вычищена ее кожа! Как она вызывающе блестела! Можно еще поспорить о фирме, родившей подобное чудо, но, вне всякого сомнения, эта высокопородная туфля казалась графиней, спустившейся в мир революции с высоченной дворцовой лестницы. Впечатленный подобным качеством, я перевел взгляд на вельветовые джинсы обладателя аристократической обуви и, словно в замедленной съемке,

снизу вверх добрался до его твидового пиджака. Пиджак и пуловер также впечатлили. Оставалось посмотреть в лицо фанату гармоники – я посмотрел ему в лицо: это был Большое Ухо.

Какое-то время я пытался вдохнуть в себя воздух; мужичок ревел «Наверх вы, товарищи», Слушатель (пленник своего обыкновенного транса) никого, конечно же, не замечал. Можно было бы тотчас юркнуть за спины статистов, испариться (обстановка подходила для моментальных исчезновений), но шок оказался слишком велик. Пока я размышлял о теории вероятностей, по толпе словно сыпануло горохом. Пропело знакомое «фьють, фьють, фьють». Люди расплескались по сторонам; исчезли все, кроме гармониста, меня и Слушателя. Почему автор этих строк не сбежал? Ведь Слушатель по-прежнему ничего не видел?! Повторюсь, существуют необъяснимые вещи. В итоге я топтался на проклятом пяточке, Большое Ухо всем своим блаженным видом поощрял гармониста на невысказанные колотца, а тот раздирали меха и собственную глотку с остервенением янычара. Наша троица представляла собой настолько идеальную мишень, что снайпер не мог отказаться от искушения выпустить еще одну очередь. Явная бездарность стрелка спасла и на этот раз. Слава Богу, от достаточно близких «фьють» Слушатель и гармонист одновременно проснулись.

– А! – воскликнул Большое Ухо, наконец-то меня разглядев, – пойдём-ка отсюда!

Он схватил меня за рукав и увлек за собой. Я был слишком потрясен его внешним видом (тираннозавр, расхаживающий по набережной в туфлях, штанах и пиджаке от Армани, не смог бы меня так шокировать) и происходившим вокруг. Я вел себя как сомнамбула. Я покорно позволил себя заарканить, а Слушатель заговорил. О, как он заговорил! Как неостановимо, как бурно заговорил он! В нем пробудилось невиданное красноречие; в нем оно забурило, выплеснулось, подобно прорвавшемуся потоку, и все мгновенно вокруг себя затопило. Я представить не мог, что он способен так говорить; я задохнулся от неожиданности. И о ком повел речь Слушатель посреди всей этой вакханалии на Краснопресненской набережной с ее дымами и запахами, с ее танками, с ее осыпавшимся стеклом, с ее «бом-м» и «фьють», с ее толпами, с ее бегущими туда-сюда врачами, с ее оцепеневшими милиционерами и Белым домом, который на глазах превращался в Черный?! Господи! Он заговорил о Гайдне!

То и дело переступали мы через открытые канализационные люки и через какие-то жалкие, поваленные ограждения (и в стоячем положении они не смогли бы остановить даже младенцев). Цепь асбестовых милиционеров разомкнулась и безмолвно нас пропустила. На углу первого попавшегося переулочка валялась девица с неприлично задравшейся юбкой, во лбу ее горела внушительных размеров дыра – вот основание, чтобы хотя бы на минуту заткнуться, но речь Слушателя продолжалась. Размышляя о «Сотворении мира», он как ни в чем не бывало перешагнул убитую (я тупо следовал за ним). Его пальцы и не думали отпускать мой рукав. Всю дорогу по московским извилистым улицам, плутание по которым могло сбить с толку и в лучшие времена, Слушатель трепался о Гайдне, по-прежнему за собой увлекая (я тащился с какой-то овечьей покорностью). По мере того как мы все дальше удалялись от набережной, пролезая сквозь прорехи в оградах и оказываясь во все новых дворах, я все более потел и терялся, а он тархтел о Гайдне, словно свихнувшийся попугай. Гайдн витал над нами, Гайдн отскакивал от стен, Гайдн, Гайдн, Гайдн... Слушатель хвастался, что собрал, кажется, все сто четыре его симфонии, струнные квартеты (начиная с опуса 33), а также четырнадцать ораторий, четырнадцать месс и пятьдесят две сонаты для фортепьяно. Оглушенный, ошеломленный, я понимал одно: Большое Ухо сделался совершенно другим. Он вообще непонятно каким сделался! Черт с ними, с пиджаком и с туфлями, но он анализировал мессы *drevis*, *F-dur* и *G-dur* с размахом, который вызвал бы лютую зависть у самых прожженных консерваторских профессоров, – вот что меня потрясло, вот что размазало по асфальту. Он и после месс не унялся: пока я приходил в себя от разбора *F-dur*, уже рассуждал о влиянии Гайдна на последующий расцвет струнных квартетов, и каждая его цитата, каждый отсыл к целому сонму терминов словно булыжниками били по моей отказывающейся принимать подобные метаморфозы голове. Когда

успел преобразиться этот вейский простолюдин (о, я помнил кеды Слушателя, я помнил его чудовищные брюки)? Где, в какой тайной масонской ложе он ухитрился пропитаться знаниями, которые сейчас брызгали из него во все стороны, словно из прохудившейся водопроводной трубы? Кто так мастерски напичкал его музыкальной теорией? Кто так плотно нафаршировал его ею? Я оглох от бесконечного Гайдна, а Слушатель дрожал от энергии. Лишь когда мысли его ненадолго сбились, на скамье в каком-то крошечном садике, на которую мы ненадолго упали (Слушатель милостиво подарил мне несколько минут для того, чтобы я перевел дух), вольно-неволью он рассказал о себе. Из куцых фраз, из оброненных клочков и обрывков сложилась картинка не менее поразительная. Оказывается, ценитель струнных квартетов перескочил в Москву почти вслед за мной (вот уж чего я не ожидал от него!). Параллельно моей учебе в столичном университете протекала и его одиссея: грузчик на Ярославском вокзале, дворник одного из жилых кварталов в Марьиной Роще, продавец-консультант «музыкального центра» на Ленинградском проспекте. В «центре» он и столкнулся с неким московским умником, любителем Майлза Дэвиса. Слово за слово, консультант продемонстрировал покупателю свой старый школьный трюк с шестизначными цифрами, за секунды складывая и деля их в своей голове. Не обошлось без познаний в бибопе. Очарованный Слушателем меломан оказался основателем целой сети компьютерных фирм – и завертелось, и понеслось. Уже через несколько месяцев после знаковой встречи тот, которого я считал экзальтированным простаком, директорствовал в одной из обильно расплодившихся контор, где целыми легионами слепли за мониторами столичные и провинциальные Гильберты. Так математика, которой Слушатель скорее от скуки увлекался в дремотном Вейске, вознесла его на вершину коммерческого Олимпа. Кстати, он уже был женат...

Дав о себе краткую справку, Большое Ухо поволок меня по Замоскворечью. Вновь он перекинулся на Гайдна, попутно сообщив, что закупает пластинки теперь уже целыми пачками. Складывалось впечатление – Слушатель трудился в фирме только ради того, чтобы опустошать столичные музыкальные магазины. Болтая без остановки, он продолжал тащить меня за собой, словно локомотив с двигателем в сто миллионов лошадиных сил. Какое-то время я еще сомневался в правдивости слов Слушателя о свалившемся на него богатстве, но вот в одном из переулков мы наткнулись на дом. Это был мощный дом (пришлось задрать голову, чтоб сосчитать все пять его этажей), возможно, из бывших доходных, розовый, чистый, словно младенец после купания, с высоченным цоколем и анфимионом под крышей, орнамент которого у меня не оставалось сил разглядеть. Решетка ограды не позволяла проникнуть к его стенам даже самым настойчивым пачкунам – здания не коснулось ни одно граффити, хотя все остальные стены в переулке были изрисованы самым ужасным образом. Слушатель засуетился (я сразу вспомнил ту озабоченность, с которой он хлопал себя по карманам возле родительского барака). Ключи и сейчас отыскивались (новомодные «таблетки»). Двери, более похожие на крепостные ворота, исполнили волю хозяина. Мне по-прежнему было не отбрыкаться, не отвязаться, не отодрать маньяка от своего рукава, и огромное парадное нас поглотило (ни единой выщерблинки, ни единой «паутинки» на его идеальном кафеле). Слушатель затолкал меня в лифт, в котором запросто могло бы уместиться стадо слонов. Под его разглагольствования о симфонии № 45 «Прощальной» гигантская клетка понеслась на последний этаж.

XI

Я успел оценить вестибюль перед квартирой, затем мы какое-то время топтались в прихожей – Большое Ухо нащупывал выключатель. Из тьмы коридора, запахиваясь на ходу в халат, к нам бросилась низкорослая женщина. Наткнувшись поначалу на меня, она еще ту же затулила халатный пояс и обняла эксцентрика, совершенно сентиментально спрятав лицо на его груди. Наконец-то проснулись лампы; свет был ярок, как взрыв в Хиросиме; жена Слушателя оказалась передо мной словно голой, то есть я застал ее совершенно домашней. По гамбургскому счету Большое Ухо совершил преступление, не предупредив любимую о визите своего земляка. Однако дело было не в ее «теньях и морщинах» – меня сразил устремленный на мужа взгляд. Дурнушка не обращала на гостя никакого внимания, для нее существовал только любитель Мендельсона, Гайдна и Моцарта. Глаза этой маленькой серой мыши не просто горели, они излучали физически ощутимое обожание. Такая сбивающая с ног своей непосредственностью младенческая радость, такая пляшущая в ее взгляде каталонская страсть невольно заставили меня вспомнить не только свою бывшую супругу, но и пришедших ей на замену напомаженных, расфранченных подружек. По сравнению с женой Слушателя все они тлели, как болотные огоньки. Пока я стоял, озадаченный открытием, что женщины, оказывается, могут радиоактивно светиться, Большое Ухо содрал с меня куртку. Я механически двинулся за ним следом, однако был остановлен укоризненным жестом хозяина: кажется, ты забыл снять обувь!

Дюймовочка задыхнулась от счастья, когда ей приказали принести «чего-нибудь закупить». Коридор утомил (я устал считать двери по сторонам). В конце концов мы со Слушателем оказались на пороге его сокровищницы. Потолок залы, которую он ласково называл кабинетом, уходил в какую-то невероятную высь. Все портьеры были отдернуты, в похожих на витрины окнах дымилось небо 4 октября 1993 года. Трубивший о Гайдне Слушатель торопился завершить свою мысль по поводу 45-й, а я разглядывал битком набитые пластинками стеллажи. Прислоненные к ним три деревянные стремянки более походили на лестницы, благодаря которым пал Измаил. Единственную свободную стену занимал портретно-фотографический коллаж, превосходящий разноцветностью мира Кандинского и приковывающий к себе внимание своей эклектикой. Коллаж однозначно свидетельствовал о пыли, с которым Слушатель орудовал клеем и ножницами (в ходу также были и английские булавки). Хорошее зрение позволило мне сразу распознать «Могучую кучку». Поверх Балакирева и Мусоргского, закрывая наполовину их почтенные физиономии, пришилилось фото благодушного Кюи. Бородин и Римский-Корсаков, благодаря тем же ножницам и клею, любовно прислонились друг к другу и были обведены фломастером, словно некая цель. Помещенные в центр подобного красного «сердца» Равель, Дебюсси и Бизе составляли еще одну композицию. Фломастер поработал также над Бартоком. Много было приклеено и пришпилено наспех, словно в горячке, вкривь и вкось, однако дизайнерская бездарность Слушателя вполне покрывалась качеством репродукций. Некоторые фотографии отличались художественностью. Прокофьев (негритянский профиль) был попросту великолепен, Гедике бодр, Стравинский весел, улыбался даже Рахманинов. От одного только вида Вила-Лобоса, жизнерадостного латиноамериканца с чегеваровской сигарой в здоровых латиноамериканских зубах, гарантированно появлялся аппетит. Глаза мои, растерянные и изумленные, продолжали выхватывать корифеев, до тошноты знакомых еще по вейской музыкальной школе: Бах, Доницетти, Шуман, Шуберт, Григ, Берлиоз, Верди, Пуччини... Из современных бросился в глаза озабоченный Шнитке и ухмыляющийся Эдисон Денисов. Застыв перед коллажем, я невольно держал экзамен, к стыду своему узнавая от силы лишь третью часть лиц этого грандиозного собрания, несмотря на проведенное за фортепьяно детство. Впрочем, и трети пришпиленных и приклеенных хватило, чтобы осознать: здесь собран весь мировой композиторский паноптикум от архаичных Амвросия и Григория

до курчавого Бриттена. Что касается Гайдна, дело не ограничилось его весьма недурным портретом (приветствующие меня со стены изображения Вивальди, Глюка и еще целой серии творцов галантного XVIII были лишь обрамлением этого полотна). В одну из полок втиснулось, кажется, все творчество венца, которое запечатлели в виниле оркестры, квартеты и отдельные пианисты. Брамс с Малером отметились не менее впечатляюще, занимая в общей сложности метров двадцать следующей полки, – что уж говорить о Моцарте! В то самое время, когда с московских улиц не спеша собирали трупы, Слушатель вел меня вдоль самого длинного стеллажа из всех здесь находящихся, хвастаясь собранным Моцартом и рассуждая попутно о стандарте Герберта фон Караяна, которым, как он был уверен, руководствуются в настоящее время все записывающие классику симфонические оркестры.

Существо с «закусить» вбежало и так же проворно выбежало; хрустальный поднос перебивался на единственном столике всеми цветами радуги. Янтарного цвета бутылку окружали бутерброды. В специальном контейнере блестели кубики льда. Произошедшие этим утром события начисто отбили у меня желание прикоснуться к буженине. Зато, наплевав на этикет, я влил в себя целый стакан виски.

– Все-таки жаль, что в конце концов роль контрапункта уменьшилась, – продолжал зудеть Слушатель, представляя полку с Генделем. – Вот уж кто был истинным гением орнаментации! Обрати внимание на «Музыку фейерверка»!

В моей голове плавал какой-то суп. Всякий раз меня начинало трясти, когда вспоминался звон стекол, «бомм-фьють» и мертвая девица с впечатляющей дыркой, а Большое Ухо перебросил мостик от барокко к авангардному джазу с быстротой, которой позавидовали бы саперы генерала Эбле. Его удивительное мастерство по возведению подобных мостов и понтонов не могло не вызывать изумления. С языка Слушателя теперь не сходил Чарли Паркер («Вот кто первым ввел в джаз идею мелодической прерывистости и создал концепцию ритма с мысленным дроблением бита, основанную на половинках каждого бита», – заметил Большое Ухо, переходя затем к восторгам по поводу искрометной паркеровской *Red Cross*).

В недалеком Кремле со скрипом поворачивался государственный руль, танки на набережной все еще дымили моторами, а Слушатель уверял меня, что никто так не концентрировался на коротких нотах (восьмые в быстрых темпах, шестнадцатые в медленных), как Пташка: «Лишь Паркер акцентировал то на бит, то между битами... И вообще – ритмика его импровизаций имела своим источником чередование акцентов, их непрерывное противопоставление...»

Выслушивая этот монолог о Паркере, я по-прежнему не понимал, почему все еще торчу здесь, как загипнотизированный кролик, вместо того чтобы убраться как можно скорее из заставленной пластинками залы с ее ненормальным хозяином и его фирмиамом паркеровским *восьмым и шестнадцатым*; почему не бегу если не на баррикады, то по крайней мере к себе, в съемную «однокомнатку» на Речном вокзале. Нет, я продолжал топтаться рядом с человеком, о существовании которого предпочел бы забыть, более того, потакал ему своим почтительным молчанием. Когда голова моя совершенно закружилась от упомянутых после Паркера итальянцев (Слушатель виртуозно перекидывал мостики), я высказал сочувственное предположение, что чисто физически невозможно прослушать все, что уже здесь собрано. Забравшийся на самый верх стремянки к Скарлатти, Корелли и Боккерини Слушатель почти из-под облаков засмеялся. Удивительно, но впервые за пятнадцать лет знакомства, именно в Москве 93-го, в день 4 октября, я услышал его смех, весьма, кстати, неприятный: какое-то «гы-гы-гы» вперемежку с кашлем. Тапки Слушателя оказались на уровне моего носа. Присмотревшись, я даже не удивился тому, что рисунок тапочной материи состоял из нот.

– О нет, нет! Возможно! Возможно! – возразил Большое Ухо. – Мои аппараты! Мои аппараты!

Он скатился со стремянки, словно марсовой с вант. Из четырех ниш между нижними стеллажами, которые я ранее и не заметил, он выкатил тележки с аппаратами. Дороговизна проигрывателей не вызвала сомнения. Это были японские «шарпы», корпусами похожие на НЛО. Приплюсуйте сюда хромированные ручки, к которым боязно притрагиваться, и укрытые колпаками из прозрачной пластмассы изогнутые диковинные тонармы, созданные для истинных небожителей. Ободранный ящик на подоконнике вспомнился мне; склеенный лентой динамик мне вспомнился. Я не успел даже ахнуть, Слушатель схватился за пульт – в инопланетных механизмах что-то щелкнуло, они заиграли. Что касается разложения частот от самой низкой до самой высокой, звук оказался невероятным, но, увы, им нельзя было насладиться. Динамики по углам залы выдали столь дикую кашу из тромбонов, скрипок, виолончелей и литавр, что я невольно содрогнулся. Слушатель улыбался блаженно. Убавив громкость, он объяснил, почему все теперь возможно.

Как бы между прочим, совершенно буднично Большое Ухо объявил – слух его изощрился настолько, что он способен теперь внимать одновременно сразу нескольким композициям:

– Поставлен букет из Восьмой «Неоконченной» Шуберта, «Вальса-фантазии» Глинки, хачатуряновского «Танца с саблями» и «Прелюдии» из вердиевской «Травиаты». Ты понял, в чем прелесть полифонического метода?

Действительно, на четырех аппаратах вертелись четыре пластинки. Я вслушивался в букет. В чем прелесть метода, я не понял. Все звучало враздрай и натыкалось одно на другое. Тем не менее Слушатель клялся, что для него нет ничего проще руками и ногами отбивать четыре ритма, что он способен «преспокойно вычленять каждую тему и отделять ее от другой». На мой вопрос, сколько мелодий за раз переваривают его уши, ответом было «пока не более десяти, но это... пока!»

Я уставился на Слушателя, думая: Большое Ухо все-таки не выдержит и расхохочется. Он действительно расхихикался («гы-гы-гы», «кхе-кхе-кхе»), однако именно такое хихиканье и похоронило надежду на то, что заявление о «полифоническом методе» – всего лишь своеобразная шутка. Слушатель потирал лапки с возбуждением мухи.

– У меня есть мечта! – воскликнул он.

Он изложил мечту. Под микс из Восьмой, «Вальса», «Танца» и «Прелюдии» я его внимательно выслушал, затем выпил еще, затем запротестовал. При всем своем уважении к его задаткам я усомнился в способности любого человека (пусть даже такого чуткого к музыке, как хозяин кабинета) воспринимать симфонии, ноктюрны и мюзиклы, собранные в подобные букеты, без вреда для чувства элементарной эстетики, не говоря уже о психике. Постулат Слушателя о том, что если основательно потренироваться, то однажды можно собрать в своих наушниках «всю музыку мира» (он подчеркнул: «Всю, какая только есть») и насладиться ею *одномоментно*, я назвал настоящей чушью. Я высказал мнение: такая ересь даже технически неосуществима. На эксперимент должно уйти немыслимое количество проигрывателей, которые, ко всему прочему, придется синхронизировать (подобный опыт по плечу был разве что Говарду Хьюзу, но и тот при всем своем безумии, пожалуй бы, не отважился на него). Допустим, Слушатель и научился пропускать через себя сразу несколько мелодий и каким-то образом отслаивать их друг от друга, но его идея насчет одновременного прослушивания миллионов композиций – самая абсурдная из всех абсурдных. Кроме того, если ему и удастся скупить всех «классиков», отдаст ли он себе отчет в том, что существуют бесчисленные легионы современных профессиональных композиторов, джаз и рок-музыкантов, а также просто любителей посочинять мотивчики, и количество их творений, судя по расплодившимся радиостанциям, растет в геометрической прогрессии: ежесекундно на земном шаре рождается новая мелодия. Слушатель просто не угонится за современными творцами...

Во время моего спича Большое Ухо разглядывал меня с некоторым сожалением.

– Я соберу все то, что посчитаю нужным собрать, – сказал он торжественно, – и включу тогда, когда посчитаю нужным включить. И я уверяю тебя, что года через два смогу услышать каждую тему в букете пусть даже из секстиллиона тем. Я сделаю это! Музыка мира будет звучать вот здесь, – с самым серьезным видом он постучал себя по лбу. – Она вся здесь уместится.

Вот так, ни больше ни меньше!

Однако он, кажется, успокоился. Он сжалился надо мной, схватился за пульт и убрал полифоническую абракадабру, оставив одного Глинку. Под зов контрабасов и валторн теперь уже «Арагонской хоты» он выстроил новый мост, вспоминая «Мадам Сан-Жен» Умберто Джордано с тем же агрессивным воодушевлением, которое так подавило и напугало меня в начале нашей неожиданной встречи. Пока Слушатель раскладывал по полочкам достоинства оперы, рассуждая о яркой эмоциональности автора, «введившего в общую канву элементы фольклора», и сетуя на некоторое несовершенство музыкальной драматургии Джордано (впрочем, «оно компенсируется мастерским вокальным письмом»), я, уже совершенно не стесняясь, подливал себе. Большое Ухо не успокоился до тех пор, пока Джордано не был им обглодан до косточек. Затем он перекинулся на Меркаданте и – уже без всяких мостов и понтонов – на Вебера, позволив себе чрезвычайно фальшиво просвистать мелодию «Хора охотников». Пуловер, вельвет, гарвардский пиджак все так же кричали об удивительной метаморфозе, произошедшей с этим выходцем из самых отчаянных и беспросветных низов. Он рассуждал о романтизме; я, пребывая в пространстве двух параллельных реальностей, продолжал ему внимать. В окнах кабинета зияло небо 4 октября, однако Слушатель нанизывал на хромовый шпindel «блина» то Вебера, то Шумана, не замечая катастрофы. Он был верен себе, обращаясь с пластинками как с воплощением хрупкости: задерживал дыхание, вытаскивая их из конвертов, нежнейше сдувал с них пылинки (потерявшие голову юноши подобным образом дуют на завитки волос своих возлюбленных). Помещая очередной диск между ладонями, прежде чем загрузить его в чрево «шарпа», Слушатель рассматривал винил подобно ипохондрику, придиричливо и тревожно вглядывающемуся в рентгеновский снимок собственных внутренностей. Это был еще с Вейска, с того самого первого его Вареза раз и навсегда усвоенный ритуал. Более того, это было камлание, служение какому-то невиданному, гигантскому по своим размерам, головокружительному музыкальному идолу.

– Все-таки, все-таки, – бубнил хозяин кабинета, карабкаясь на очередную стремянку, – то, о чем я говорил, вполне возможно. Конечно, я не собираюсь мучить тебя одномоментным включением, скажем, «Фантастической симфонии» Берлиоза и каприччио номер двадцать четыре Паганини, но мне ты-то можешь поверить...

Пол-литровая бутылка демократичного *Kingdom 12 Year Old Scotch* была мною приговорена. Благодарный хотя бы за то, что Слушатель не пытается предъявить новый букет, я выслушал чуть ли не половину «Волшебного стрелка» и шумановские «Грезы». Я помнил о Доме Советов, я все никак не мог понять, какие силы заставляют Большое Ухо вдохновенно болтать о романтизме в этот ужасный день. Проведенное на набережной утро утробно во мне ворочалось, смешались гармонь, «бом-м-фьють», философия Гайдна; я таранился на Слушателя, с ужасом думал, что с нами со всеми будет, и чувствовал, что мое раздвоенное состояние на полных парах приближается к пределу, за которым вполне может поджидать и безумие. Спиртное пришло на помощь именно в тот момент. Под журчание Слушателя о блестящем воплощении в музыке Шумана сентиментальных особенностей германского духа виски наконец-то принялось выдавливать из моего сознания канализационные люки, асбестовых милиционеров, «бом-м-фьють» и убитых девиц. Началось мелькание кадров, что и неудивительно: спасительную смесь из солода, воды и дрожжей все то время я лил на пустой желудок. Меня здорово развезло посреди пластинок и аппаратов. В два часа ночи я станцевал венгерский танец *in F sharp minor – Poco sostenuto* Иоганна Брамса, потом вновь воззрился на коллаж, всей кожей чувствуя – пришпиленные и приклеенные Бартоки, Берлиозы, Листы и Моцарты в свою очередь с нескры-

ваемой жалостью разглядывают меня, несомненную жертву этого музыкального хаоса. А Слушатель все еще о чем-то пел, он залезал на стремянки, дробью сыпались его комментарии и замечания. Насколько я помню, он вновь возвратился к дурацкой идее, утверждая, что рано или поздно сосредоточит в своих наушниках всю музыку мира и прослушает ее *одномоментно*. Он посмеялся над моей крайней компьютерной безграмотностью, заметив, что мощному процессору под силу наложить друг на друга сколько угодно мелодий. «Но я категорически против компьютера! – тут же воскликнул. – Компьютер не может дать такое качество звука, которое выдает винил. Компьютер срезает частоты – для меня это неприемлемо. Не-при-ем-ле-мо! Поэтому остаются проигрыватели. И почему ты уверен, что мне не удастся собрать достаточное их количество?» Потом он намекнул, что не собирается останавливаться даже на этом. Сделав таинственное лицо, Большое Ухо поделился еще одной явной чушью. В один прекрасный день он собирался переселиться в лучший из миров (как он выразился, «перескочить на небо»), опять-таки нацепив наушники, под единовременный гром всех на свете музыкальных произведений. «Овладеть махасамадхи, как Парамаханса Йогананда, а затем послать всё на хрен, решительно всё, и однажды полностью раствориться в музыке, что может быть лучше?» – спросил Слушатель с каким-то хитрым прищуром. И я не знал, что ему ответить. «А я ведь могу! – сказал он опять-таки на полном серьезе. – Я могу». Он еще о чем-то бубнил, пока не застыл на стремянке под колокола «Увертюры» Чайковского. Наркотическое состояние, столь знакомое мне по Вейску, наконец-то его сразило. Он внезапно обо мне позабыл. Он отчалил. Из уголка его рта, совсем как и в детстве, когда он садился на палас возле «Дайны», потянулась слюна. Таким Большое Ухо мне и запомнился: потусторонним, остекленевшим на верхних ступенях стремянки, с глазками мутными, как болотца. А я очнулся, я воспрял, виски подтолкнуло к самому верному решению. Милосердно избавив от чувства вины, алкоголь прошептал: «сваливай», и я внял совету – моментально, безоговорочно. Я поспешил покинуть залу. Впрочем, какое там поспешил! Я просто-напросто выскочил из кабинетца самого странного на свете директора компьютерной фирмы, миновал лабиринт коридора и, уже у самого выхода наткнувшись на серую халатную мышь, которая даже и не думала хоть как-то прихоршиться, довольно быстро, как мне показалось, откланялся...

XII

После 93-го года время словно подстегнули кнутом: оно перешло на галоп. 4 октября в конце концов поместилось в один из самых забытых сундуков на моем чердаке. Конечно, при желании можно было распахнуть и его, вытащив на свет прогулку с любителем Гайдна, однако совсем не хотелось отскабливать всю эту патину, воскрешая в своей памяти человека не просто с тараканами в голове, а с целым их там гнездом. Добавлю, московские набережные и музыкальные магазины с тех пор я интуитивно обходил стороной, а при первых же звуках уличных флейт и гармошек мгновенно перемещался на другую сторону улицы.

Жизнь моя оставляла желать лучшего, свидетельство тому – работа монтировщиком сцены в одном из тех молодежных театриков, которые вытаскила на свет божий вседозволенность девяностых. Руководил коллективом, или, если более точно выразиться, терзал его самодовольный тип с львиной гривой и эспаньолкой «а-ля Наполеон III», во все вникающий, во всем разбирающийся, готовый мучить дворников, вахтеров, уборщиц, гардеробщиц да и вообще всех, кто только попадался ему под руку, своими бесконечными наставлениями о том, как обращаться с каждой метлой, с каждым стулом и с каждой вешалкой. После первой же нашей с ним встречи он умудрился поселить во мне не просто уныние, а тотальную уверенность в том, что отечественный театр не имеет будущего. Но более его нервного, похожего на легкие припадки смешка, более постоянно бросаемого в разные стороны полупрезрительного «я лучше знаю, что делать» меня, еще не законченного тогда мизантропа, расстраивала непонятно откуда, из каких подсознательных глубин берущаяся готовность представителей театральной труппы – бледно-синих девиц и худосочных юношей – реализовывать любую глупость, которая только приходила в голову нашему Карабасу-Барабасу. Нужно было видеть, с каким щенячьим восторгом подхватывали лицедеи каждую бросаемую им, словно подачку, из «режиссерской ямы» идейку, с какой собачьей покорностью сносили любое оскорбительное словцо. По одному щелчку господина стадо готово было полностью скинуть с себя одежду или облачиться в немислимые лохмотья. Натужный (опять-таки по режиссерскому требованию) актерский хохот с педалированием раскатистого «ха-ха-ха» до сих пор стоит в моих ушах. Не менее ужасен был и театральный плач. Деспот требовал «истинной трагедии» – и он ее получал. Повинуясь вождю, рабы не только плакали, но и катались по полу, корчились, замирали, отмирали, вставали на четвереньки и лакали из блюдец. Однако «вне сцены» угодливость этих дрессированных пуделей моментально смывалась – на смену раболепству приходил поистине оскар-айльдковский снобизм. После более схожих с экзекуциями репетиций актеры часами заседали в буфете, то и дело отвинчивая пробки фляжек и подливая себе в кофе пахнущий клопами коньяк. Прodelывали они это с той неторопливой важностью, которая ясно давала понять: в их дешевых китайских посудинах плещется не иначе как «Генрих IV». Невероятно легко, я бы даже сказал, виртуозно совсем еще недавно дергающиеся на ниточках пьero преобразались в цистеронов. Речам не было конца, каждый стремился выступить в роли ниагарского водопада, изливая на головы окружающих свои суждения о Брессоне, Карне и Росселлини, лопааясь от собственной значимости и готовый, словно польский шляхтич, в мгновение ока схватиться за нож или, на худой конец, за ножку стула, если с его мнением не согласятся. Подрабатывая вахтером, я имел честь до поздней ночи слушать все эти ораторские упражнения, в которых охотно принимали участие и дамочки. На сцене местные актриски напоминали оживших утопленниц: их покорность доморощенному Станиславскому была все рекорды. Однако, спустившись с подмостков, смыв грим, приведя в порядок волосы, задрапировав пуловерами и юбками места, еще совсем недавно безропотно выставленные на всеобщее обозрение, они восседали за столиками этакими лихими суфражистками, то и дело выхватывая из пачек «Голуаз» очередные тонкие гильзы, вращая их пальчиками, перед тем как заполнить свои крошечные легкие

сигаретным дымом, с хлюпаньем прихлебывали коньячно-кофейное пойло и постоянно перебивали партнеров.

Усталость и алкоголь приводили к одному и тому же эффекту: к одиннадцати часам вечера реки словоблудия превращались в ручейки, к двенадцати – в тонкие струйки и к часу ночи, как правило, пересыхали. Кавалеры разбирали дам и волокли их к выходу, словно сломанных кукол. Назавтра все повторялось. Удивительно, но невыносимый тиран, сующий нос даже в дворницкую, исходящий брызгами слюны на малейшее неповиновение зрительниц, негодующий на микроскопический беспорядок в гримерных, нисколько не препятствовал коллективному безобразию, происходившему прямо на его глазах. Стоило только закончиться очередной репетиции, он как будто сдувался, задерживаясь в зале за режиссерским столиком и перебирая бумаги с перечеркнутыми вдоль и поперек текстами, пока подчиненные переодевались в гримерных, а после бочком-бочком пробирался мимо выпивающих юнцов в свой кабинет либо отправлялся инспектировать декорационную мастерскую. Несомненно, подобным поведением он поощрял каждодневные посиделки. Но актеры! Эти бедные, несчастные Арлекины! Они хором называли свое жалкое существование служением искусству; я же, прислушиваясь к доносящимся из буфета интеллектуальным дискуссиям, часто задумывался о странности человеческой психики, которая, явно издеваясь над тем или иным индивидом, в один далеко не прекрасный день нашептывает ему идейку «поступить в театральный», чем подвергает в ужаснейшую цепь событий.

Однако возвращусь к «генератору мыслей». Предводитель отличался той особенной, лихорадочной кипучестью, которой, как правило, подвержены самые безнадежные бездари, – его энергию не останавливали ни проклятия критиков, ни уход с премьер половины зрителей. Извращенец упрямо специализировался на классике и немало преуспел в так называемом «новом прочтении» – во всяком случае, постельное трио из Хлестакова, жены городничего и его дочери прославило нас на всю страну. Досмотревший до конца поставленную мэтром погодинскую пьесу маститый журналист впоследствии жаловался известной газете, что посещение «Человека с ружьем» было сродни походу в общественную баню. Впрочем, его брюзжание померкло перед реакцией публики на «Трех сестер», трактовка которой объединила против нас под общим знаменем, кажется, всех столичных театралов. Ответом на бешенство этой армии стал «Макбет». Готовясь к шекспировской драме, вождь сделался невменяем. Он притащил прямо в зал раскладную кровать и собственным примером перевел на казарменное положение не только труппу, но и все остальные службы, включая пожарных. Его фанатизм распространился по театру, словно гонконгский грипп, заразив даже флегматичек из бухгалтерии, теток, надо сказать, весьма информированных, так как тайком от начальника они на всякий случай предупредили всех остальных – на сей раз провал будет означать закрытие театра и потерю пусть небольшого, но заработка. Шепоток этих барышень явился дополнительным стимулом. За два месяца до премьеры, которая, судя по нескольким уже отрепетированным сценам, попыхивала не просто скандалом, а настоящим катарсисом, монтировщики вповалку ночевали в одной из гримерных, урывая для сна пару-другую предутренних часов. Что касается антуража, режиссер не сомневался – его марсианские треноги из металла, пластика и полиэтилена должны произвести на зрителя незабываемое впечатление. Ползая вместе с нами на четвереньках под циклопическими сооружениями, сжимая в потных руках расплзающиеся от бесконечного разворачивания бумажные листы с чертежами, он контролировал каждый замах молотка и каждое действие шуруповерта, сетуя на ненадежность своих конструкций, этих достойных соперниц Эйфелевой башни. Близкое знакомство с вейскими декорациями, которые не раз в детстве мне доводилось рассматривать, сослужило хорошую службу. Я запомнил простые и надежные крепления и предложил их использовать, присовокупив от себя идею с бревном: оно должно было раскачиваться на подвешенных к потолку канатах, являясь ложем королю Дункану, качелями ведьмам и тронем кровожадной чете. Гигантский котел, в котором варятся сна-

добья, появился на свет опять-таки благодаря моему озарению. Помыкавшись по армейским базам, не без помощи вездесущих прапорщиков я достал экспериментальную кухню, работающую также на электричестве, нутро которой могло досыта накормить целый запорожский курень. Кухню закатили в небольшой «отстойник» за кулисами, который, ко всему прочему, служил местом отдыха. С тех пор в ее малом котле курилась дымком горячая вода для чая (поварешка всегда была рядом), а на плите можно было не только разогреть макароны (единственная пища наших горемык-актеров), но и за каких-то пять минут высушивать досуха самое мокрое белье.

ХІІІ

Усовершенствовав еще кое-какие детали в подъемных механизмах, я поднялся до должности начальника бригады рабочих и стал, пожалуй, единственным человеком, который имел возможность в любой момент получить увольнение в город. В то лето Москва заполнилась грозами. Небо трещало от электричества, дождь, казалось, ходил за мной по пятам, ненадолго давая себе отдых, пока я возился с чеками и коробками в ближайшем строительном магазинчике, а затем с новой силой и явным удовольствием набрасывался на новоиспеченного бригадира, стоило только мне покинуть заведение. Так как на обратном пути мои руки были заняты свертками, я оказывался полностью беззащитен и, глотая воду, проклинал грозовые чернильные пятна, упрямо висящие над головой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.